

Игорь Шестков "Записки следователя"

Опять убийство. В понедельник после праздников. Первомай гуляет по планете!
В селе Столетово особенно разгулялся.

Потерпевшая – Липкина, Федотья Андреевна, 19... года рождения, русская, беспартийная, образование – восемь классов. Четверть века, значит, прожила. Вот тебе и Столетово. Двое детей. Мальчик двух лет. И девочка одиннадцати месяцев. Еще кормила. Подозреваемый – муж Федотьи, Липкин Афанасий Прокопиевич, русский. Беспартийный... Электрик. Арестован в доме матери, Липкиной Пелагеи... В нетрезвом состоянии... Плакал. Говорил, что ничего не помнит. Умные стали.

Сегодня на душе так темно, что наложил бы на себя руки... Но что-то останавливает. Не то, чтобы я надеялся на что. Просто хочется дальше жить. Ездил в Столетово. Приятно после нашего смрада свежего воздуха хлебнуть. Село как село. Даже церквушка имеется. Поля. Березки.

Соседка... Сидоровна... якобы всю ночь крики слышала. Женщина кричала. Или ребенок. А может и кошка мяукала. Рано утром в дом пришла Пелагея, свекровь Федотьи. Все было вроде хорошо. Но ни сына ни снохи. Сын-то может и у крестного заночевал. А где кормящая сноха? Дети пищат. Полезла в погреб за вареньем. А там Федотья лежит. Страшная, с высунутым языком. Мертвая. Из опухших грудей молоко капает. Вокруг горла втрое скрученный телефонный провод. Заголосила. Люди сбежались. Милиция. Скорая.

Осматривал место происшествия. Крови нет. Погреб как погреб. Ящик для картошки. Банки-склянки. На полу что-то блестело. Какая-то железка под грязной доской валяется. Поднял. Крюк с резьбой. А на стене у самого потолка – развороченная дырка. Там, значит, торчал. Может она на этом крюке и повесилась? Нет, слишком низко тут. А так... все вроде нормально в погребе. Старлей-милиционер сказал: «Удавили ее, а может и сама удавилась». Точно определил.

Почему остальные соседи о той ночи молчат? Как воды в рот набрали. Что-то скрывают. Поди что разбери во всей этой дряни. Припугнуть их надо, повестки

разослать. Этого деревенские боятся.

Протрезвевший муж, Липкин этот, верзила, заладил как попугай: «Не виноват ни в чем! Пьяный был. Ничего не помню. Федотью – пальцем не трогал. Чтоб мне пропасть...»

Пропадешь, пропадешь, и не сомневайся. Кто убил не знаю, а сидеть скорее всего тебе придется...

«Откуда провод?» – спрашиваю.

Молчит, дергается. А потом опять свое заладил: «Не виноват...»

А насчет «пальцем не трогал» – врет парень. Жену его и раньше с фонарями под глазами видели. Это мне ее бывший учитель сказал, Елкин. Помнил ее еще девочкой. Усердная, говорил, была. «Дед Мозай и зайцы» наизусть читала...

Заглянул перед отъездом в их сарай. Так там проводов на стенах – на электростанцию хватит. И мотки и катушки на огромных гвоздях висят.

Наворовал небось. Вот так все деревенские. Колхоз, колхоз! Трудодни! А воруют все что можно у колхоза. Осмотрел сарай внимательно. Сверлильный станок ржавый, огнетушители старые, стекла оконного тонны две. Кирпича – кубометр. Хорошо живет. Паутина. На одном несущем столбе – дырка. В ней или здоровенный гвоздь был или крюк. Больше ничего интересного не обнаружил.

Страшный сон сегодня ночью приснился. Будто я в погребу. И жду, как в театре ждут, представления. Прямо в кирпичной стене вдруг открывается сцена. На сцене – огромный заяц сидит. С корову. Передними лапами старого мужика держит. И сзади его пялит. Мужик рот открыл, глаза выпучил. Дальше – хуже. На сцене зайцы запрыгали. Как цветные шарики. Скачут, играют. И на меня совсем не как зайцы смотрят. Тут до меня дошло – зайчихи это. И от меня они хотят того самого. Я к ним прыгнул. И давай с ними скакать. Ох, злое счастье! Нежный мех. И зайчихи сладкие. Долго скакал. Потом повалился на пол. А зайчихи все – на меня. Попками толстыми по мне заерзали. А одна села на мой кол. Я взял ее за длинные уши...

Проснулся – мокрый от возбуждения. Доделал рукой то, что сонный дух не осилил. А потом расстроился. Что я за человек? Заяц. Ладно, проехали. Надо на работу идти.

Сидел на партсобрании в прокуратуре. Скучал. Говорят, говорят, не наговорятся. Вот наказание! Ага, новое групповое изнасилование. Малолетка. Наверняка рабочие с Губиноазота отличились. Так точно. На первое мая после праздничной смены гульнули. С смертельным исходом. Нанюхались метанола – и вперед. К победе коммунизма. Двенадцать человек. И бутылку пивную куда надо вбили. «По неосторожности». Советская молодежь! Сторож их видел. Все арестованы. Пока упираются. Ну, Приходько долго терпеть не будет. Как первому почки отобьет, все остальные тут же разговорятся. Тогда будут выбирать зачинщиков. Чтоб беспартийные были... Им вышку. Остальным – от восьми до пятнадцати. Еще и невиновных могут посадить. Если кто подвернется. Бесплатная рабочая сила. У парней небось от страха голова кружится. Друг на друга будут валить... Спросили, как мое убийство продвигается. Я объяснил. Оставили в покое. Но скоро начнут жать. Подавай им признание. А мой убийца ничего не слушает, только свое заклинанье повторяет: «Не виноват ни в чем». Нет, дружок, так не бывает. Если родился – уже виноват. Живешь, не подох – виноват еще больше. И все за жизнь одно получают – высшую меру.

Крестный его Митька-механизатор, уверял меня: «Удавилась она, сама, сдуру. Никто ее пальцем...»

В погреб пошла, значит. Детей покормила и одних наверху оставила. На крюк проволоку намотала, влезла на стул, встала спиной к стене, петлю на шею надела, коленки поджала и... А в этом погребе нормальный мужчина и стоять не может, низко. Так низко, что маленькая Федотья и на стул встать не смогла бы – головой потолок бы пробила.

Побоев на теле вроде и не видно. Вскрытие подтвердило – смерть от удушья. Наступила от восьми вечера до двух часов утра. А Сидоровна говорила, всю ночь крики были. Полоса синяя через все горло. А сзади на шее – нет полосы. Значит, сзади и душили. Но петлю не перекручивали. А может, воротник от платья помешал. Или что еще. Надо на допрос Приходько пригласить, да из комнаты выйти. Будет признание через пять минут. Идея! Так и сделаю.

Придется парторгу бутылку ставить. Или каких-нибудь мусоров позвать – пусть они поработают. Но эти звери кости поломают. Отвечай потом... Крюк проклятый мне покоя не дает. Не могла Федотья на нем удавиться. Что же он,

сам из стены вылез?

Под утро снилось мне, будто опять я в погребе. Темно там. Сыро. И тут, как в кино, понемногу стало светлеть. Как будто мой кабинет появился, только в окнах не свет, а стены подвальные. Вижу письменный стол. На столе не бумаги и телефон, а Липкин, мой подследственный, связанный лежит. Рядом – Приходько с маленьким прутиком в руках. Этим прутиком Приходько Липкина по голому задку лупит. Слышно как прутик в воздухе шипит. Липкин стонет.

Приходько меня увидел и сказал: «А, это ты Шурик, ну продолжай сам».

И мне прутик подает. А сам исчезает. Беру я в руки прутик, а он начинает расти и изменяться. И вот уже у меня в руках солдатский ремень с пряжкой.

Липкин говорит мне: «Товарищ старшина, вы уж постарайтесь, уважьте меня! Врежьте погорячее. Только пряжкой не бейте».

Я говорю: «Зачем пряжкой, мы тебя ремешочком оттянем. По-армейски».

И начинаю Липкина пороть. Порю долго, до крови, и все мое нутро от вожделения поет и светится.

Спрашиваю: «Ты зачем Федотью задушил, чудо морское?»

А он мне: «Так ведь она с Петькой, Сидоровны сыном, спуталась».

«Как, – говорю. – С Петькой? Нет у Сидоровны сына. Врешь ты все, подлец. От себя вину отводишь. Крюк в погребе зачем из стены выдернул?»

«Не виноват я, товарищ старшина, оговорили!»

«Кто тебя, сукиного сына, оговорил? Кому ты на хер нужен?»

«Не виноваат я...»

Тут он медленно поворачивается ко мне лицом, и лицо его делается мертвым. И передо мной на столе лежит уже не Липкин, а Федотья. Страшная, в трупных пятнах. Из помятых грудей синюшное молоко сочится. Язык до подбородка достает. Тут меня во сне настоящая оторопь взяла. А она в себя свой распухший язык втянула, посмотрела на меня остекленевшими глазами, и говорит: «Иди ко мне, любимый!» И ноги развела.

Я лег на нее...

Проснулся опять в поту. Что же это со мной? В прокуратуре часто умом трогаются. Может к врачу сходить? Так и так, скажу, мне мертвые снятся, и я с ними в половую связь вступаю. Врач тут же донесет куда надо. Запрут в дурдом.

Галопередол. А там, прощай жизнь. Помирать страшно. Вдруг там пустой погреб с пауками? В школе проходили.

Еще раз в деревню ездил. Всех подряд расспрашивал.

«Видели кого у Федотьиного дома? Заходил кто в дом?»

«На праздники все друг к другу ходили, а третьего – нет, никого не видели».

В электромонтажке спрашиваю: «Когда Афанасий в понедельник вечером домой пошел?»

«Может в пять, а может и в семь. Он один остался, все остальные по деревням мотались. С самого утра тут один сидел, трансформатор чинил».

«Починил?»

«Нет, он так и не работает. Обмотка сгорела, перематывать надо. А у нас такой проволоки нет».

Знаем мы, где проволока лежит.

«Так что же он делал?»

«А черт его знает, с похмелья был, может спал...»

Черт конечно знает все, а мне дело закрывать надо, а ни признания, ни улики нету. Даже понять не могу, где мой подозреваемый вечер понедельника провел. Мать не помнит, отец не помнит. Соседи молчат. И обиженные рожи строят. Что ты, мол, нас мурыжишь. Твоя работа, вот и дознавай! Чувствую, врут. Значит, кого-то выгородить хотят? Но кого? Афанасия? Но они его своим запирательством только топят.

Пошел еще раз к Елкину, к учителю. Тот обрадовался, засуетился. Пригласил к самовару. Чай заварил. Пряники на стол выставил.

«Откуда у вас такие пряники вкусные?»

«А в Туле к празднику выкинули».

«Опрашивал всех тут, в деревне. И такое у меня впечатление, что все кого-то покрывают. Или боятся правду сказать. Не хочу невиновного сажать, тут и так каждый второй сидел».

«Да нет, показалось вам. Никого они не покрывают. Просто знают по опыту – лучше помалкивать. А то беды не миновать. Они ведь что думают? Понаедут из города и засудят! Как при Салтыкове-Щедрине, так и сейчас. Город Глупов-с!»

«Вы думаете, Афанасий убил? Мать своих детей? Молодую пригожую бабу?»

«Та кто же его знает. Мать, не мать... Тут в деревне, каждый мужик бухой может человека убить. Сто перый километр...»

«А может приревновал? Вы ничего не замечали? Может, кто ходил к ней?»

«Кто же тут ходить будет? Тут же все на виду».

«Молодая баба. Одна. То да се. Может все-таки что слышали?»

«Ходил слушок, но скорее всего брехня. И говорить не хочу».

«Уж лучше скажите, все равно узнаю».

«Говорили люди, Прокопий к Федотье заглядывает, свекор».

«К снохе?»

«Раньше это часто было. Снохачество называется. Когда свекор со снохой...»

Вышел от учителя, пошел к Прокопию. Тот на работе. Пелагея в дом не пустила.

Глаза испуганные. «Ничего я не знаю, мужа дома нет».

Изробленная баба. Простая. Неужели врет?

Снохач? Это уже что-то. А убийство тут причем? Свекор сноху задушил? А зачем? Себе на шею внуков вешать? Или муж узнал и рассвирепел? Сидеть Афанасию в тюрьме. Так и так. Надо Приходько подключить. Иначе толку не будет.

В прокуратуре говорю Приходько: «Никитыч, поговори с моим подследственным. Повоздействуй. Не хочет признаваться. А припечь мне его нечем. Все равно посадят, конечно. А меня осрамят».

«А что, крепкий орешек?»

«Он не орешек, он попугай. Талдычит одно и то же. Два часа в прошлый раз повторял. Кто-то шибко умный ему посоветовал. Психологически, понимаешь, сильно действует. И не молчит. И дурак вроде. Не убивал, не убивал... Если он так и на суде будет бубнить, нехорошее впечатление у судьи будет».

«Ладно, Шурик, только для тебя завтра провернем. Бутылку можешь уже сегодня купить».

«За мной не постоит».

Домой пришел злой. Начал картошку чистить – порезался. Кровищи на пол накапало...

Вот черт, пристало – опять страшный сон видел. В погреб спустился. А там беременная Пелагея на крюке висит. Старая, в морщинах вся, кожа дряблая,

волосы разметались. За руки повешана. А лысый дед – Прокопий, в одних трусах, ее по огромному животу длинным прутом стегает. Во рту у бабы тряпка. Сиськи отвислые трясутся. Прут свистит.

Прокопий бьет и ругается: «Ты, п.здота старая, где брюхо нагуляла? Синуюха. С солдатней спуталась...»

Тут во мне огонек и запылал. Подошел к нему сзади и спустил трусы. А он услужливо заюлил и зад отключил. Пелагею сек, а мне по-рабски улыбался. Затолкал я кол в его тощий зад... Он заверещал. Пробормотал: «Так точно, Ваше Благородие. Ваше право. Мы на эти дела всегда согласные...»

Кончил я в тот момент, когда Пелагея выкинула. Как будто осьминоги из нее выпали. И по земляному полу расползлись.

Даже записывать страшно. А вдруг прочитает кто? Прочитает? Кому ты нужен? Раз в жизни самому себе правду сказал и испугался.

Осьминоги. Откуда они ко мне в сон приплыли? Видел этих тварей в аквариуме в Москве. До сих пор противно.

Интересно, есть в погребе дно? Там я уже, или только на подлете?

Поговорил я с Прокопием. Был он на самом деле не тощий. В теле мужик, но рыхлый. И не лысый еще. Себе на уме. Но глуповатый. И совершенно спившийся. Снохач? Нет, этот и свою жену последний раз двадцать лет назад раздетую видел.

И Приходько ничего не добился.

«Молчит твой Липкин. Здоровый черт. Заладил... Как заведенный. Интересно было бы узнать, кто его завел».

«Слушай, Никитыч, – говорю. – Ты мне разрешишь дело без признания на суд представить?»

«Нежелательно. Ты не мудри! Я уже давно в уголовке, всякого навидался.

Бывает и не поймешь ни черта, а вот он – труп. Кого-то наказывать надо. Потому что, если не накажешь, все село решит – ослабли они. А мы не ослабли!

Советское правосудие крепко как никогда... Нам по-хорошему все равно, кто сидеть будет. Сын ли, отец или дух святой. Взять с них нечего. А порядок и уважение к власти мы защитим...»

«Ладно, Никитыч, не кипятись, как-нибудь справлюсь».

«Ты с этим делом не тяни, на тебе еще пять дел висят... Поживей! А бутылка – все равно за тобой. Парень крепкий, рука болит. Такому бабу задушить, как мне два пальца...»

Был в Столетово. Говорил с братом Афанасия, Мишкой.

«Михаил Прокопиевич, Вы мне скажите, что, Федотья и Афанасий хорошо жили, не ссорились?»

«Чаво? Ничего жили. Как все».

«Может к Федотье ходил кто?»

«Чаво? К Федотье? Так кто же к ней пойдет. У нее же муж есть... Ноги бы переломал».

«Что же Вы думаете, она сама повесилась? Или кто помог?»

«Чаго? Думаю? Я ничего не думаю, пусть лошадь...»

«А что в деревне говорят про Федотью?»

«Говорят, была ведьма, ее черти и повесили».

Только этого мне не хватало. Ведьмы и панночки.

«А за что? Дайте зацепочку».

«Чаго? За что? Не знаю... Спросите у бабки – Калдырихи».

«Это что за бабка?»

«Так на хуторе, живет... Колдует... Вон там, за лесом. К ней даже с московскими номерами приезжали...»

«Далеко идти?»

«Так у вас же газик есть – по лесной дороге два километра. Хоть и развезло, а проедете».

Поехал я к Калдырихе.

Лес вокруг дороги нетронутый, дремучий. Вот-вот покажется избушка на курьих ножках. Но ничего такого не показывалось. Заметил только повешенного черного кота. Метрах в десяти от дороги. Молодежь наверно шалила. Даже останавливаться не стал.

Дорога была вся в рытвинах и лужах. Три раза мой козлик буксовал. Пришлось выходить и еловые ветки подкладывать. Весь грязью замарался. Один раз испугался, что в луже вместе с машиной утону. Такая глубина. Ох уж эти весны! На душе неразбериха, а в природе грязь. Выехал из леса. Вышел из машины.

Осмотрелся. На лугу первая травка выбилась. Озерцо как синее блюдце. Солнце печет. На опушке березового леса стоит изба. Подошел к калитке. Заглянул на участок. Яблони растут, огородик, цветничок правда еще голый. Курицы ходят. Изба старая, но ладная. Хорошо строили раньше.

«Есть тут кто?»

Из избы вышла женщина. Седая. Лет семидесяти. На плечах оренбургский платок. В волосах лента. Спокойная.

«Заходи, Сашенька, я давно тебя поджидаю...»

«Это вы – Калдыриха?»

«Калдырина Ангелина Дмитриевна. Ты можешь меня Ангелиной звать. Хотя я тебя и на двадцать лет старше».

«А откуда вы мое имя знаете?»

«Уж три дня на селе говорят про следователя. И ко мне на хутор доносится».

«Что же говорят?»

«Говорят, седина в висках, а ума нет!»

Разозлился. Так всегда. Поступаешь с ними по-человечески. Разобраться хочешь – тебя за дурака почитают. Начнешь лютовать – уважают.

«Как так? За что меня глупым считают?»

«Ты, милоч с нечистой силой подружился, а от людей совсем отошел».

«С какой нечистой силой, что ты, бабка, чушь порешь?»

«Осердился, а я тебе помочь хотела... Чтобы ты чертей не наплодил. Их и так по свету несметные тысячи бродят. Они к людям прямо в душу лезут. В белую горницу, для Святозара приготовленную. И там гадят. И Святозар не приходит. А человек сам себя изъязвляет, болезный, не понимает где сон, а где явь...»

Ах, ведьма!

«О Святозаре потом, Вы мне лучше о Федотье расскажите. Слышал я, что Вы с ней знакомы были. На шабаш, что ли вместе летали?»

«Ну вот, хорошо, что шутишь. А то, вон ведь какой – весь перекрученный. Нет, летать я не могу, пусть птички летают. А я по земле ходить буду. Как мышка. Да, Федотья была у меня. Детей у нее три года не было, я с ней поговорила, пошептала, травки присоветовала... Вот две ромашечки и расцвели... Была она девушка наивная. И Афанасия любила, хоть он и петух. Обижал ее. Но душа у

него не злая. Пьет он. Присноироду служит».

«Кто же ее убил? Присноирод? За что? Ума не приложу. Помогите, наведите на след...»

«Грех большой, мать от детишек отрывать... Не знаю. Может, кто совсем чужой? Не из наших? Приехал, насильничал и фьют... До шоссе от деревни – пять минут, асфальт. И дом ихний недалеко. Мужа не было. Может, с друзьями пил... Шут его знает. Тут недавно к деревенскому попу какие-то городские приезжали. Может они?»

«Друзья говорят про вечер третьего – не помним, от бодуна еще не оправились».

«Это они от страха. Каждый вечер киряют. У них всегда праздник. Бодун-колотун. У меня третьего дня кота украли».

«Ну спасибо, Ангелина Дмитриевна, помогли. Пойду я».

«Ты Сашенька потом, как с этим делом покончишь, приходи ко мне. А то пропадешь...»

Уехал поскорее от нее. Глаза у нее добрые, но кошачьи. Видит она меня насквозь. Лярва старая! Завтра навещу попа. Да еще в сельпо с продавщицей надо поговорить, узнать, покупал ли Липкин третьего спиртное.

На обратной дороге остановился, вынул кота из петли. Проволока телефонная. Совпадение? Бросил кота в лесную яму и дальше поехал.

Снился мне опять погреб. Будто я Сына-Святозара оплакиваю. И так мне на сердце горько. Сын-Святозар лежал в гробу. В шестнадцать лет бедный умер. Радостей еще не знал, света не видел. Вот, сижу я рядом с гробом, плачу. Потом желание взяло свое. Руки от страсти задрожали. Раздел мертвого. Тело у него было мальчишеское, а формы женственные. Волосы кудрявые русые. Лег к нему в гроб. Стал его ласкать. Лизал ему ушки и спинку светлую кусал... Вот наваждение!

А потом во сне на шабаш попал. Бабка Калдыриха там всем заправляла...

Огромная, толстая, не такая, как в жизни. Вначале младенцев в огромном котле варили, жир вываривали. Жрали потом голые ведьмы младенцев так, как будто это сардельки. И в себя засовывали. Затем под потолком летали, хоровод устроили и пели. Что пели, толком не разобрал.

«Сели, сели, дули, дули, между ножек перегнули, распалили, раскалили, в ночь

на белую звезду, растопырили п.изду, затопили, заварили, в печке солнце уморили, кто лежит под рысаком, тот родится петухом, у нее большая дырка, а у мужа носопырка, носом, носом, пырь засосом, перекосом все пошло и на деда перешло...»

Тут они все на меня уставились и как лошади заржали. А Калдыриха подскочила ко мне, схватила за уши двумя руками и голову мою себе в лоно сунула. Там было красно, влажно. Как в ташкентской дыне. Я высунул язык и лизал колеблющиеся прелести... А Калдыриха взяла мой кол и стала его вертеть...

Проснулся я от поллюции. Из горла еще рвался стон. Кто-то настойчиво звонил в дверь квартиры. Набросил на плечи халат. Открыл. Соседка.

«Ты чего кричал, Шурик? Может скорую вызвать?»

«Все хорошо, баба Настя, мне просто... Присноирод приснился».

«Господи, спаси... Я думала, ты сдурел или помер, испугалась».

«Спасибо за заботу».

С продавщицей сельпо разговор был короткий.

«Покупал Липкин третьего спиртное?»

«Нет».

«Хорошо помните?»

«Да ничего не было. Пустой прилавок. Все перед праздниками расхватали. И зачем ему водка, когда самогонки полно?»

«Кто гонит?»

«Не знаю я ничего...»

Пелагея небось и гонит. Надо будет еще раз с ней поговорить. Подошел к их дому. Мужики какие-то на улице стоят. Угрюмые. Покупатели? Как бы мне от них не схлопотать. Хотел к калитке подойти, не дали. Один прохрипел: «Уходи лучше по-хорошему».

Не стал я лезть на рожон. В следующий раз с ментами приеду. Попляшут у меня. Пошел к попу. Рядом с церковкой домишко.

«Батюшка в церкви, отпевает».

Вот это да! Преследует меня мертвая Федотья. Вошел в храм. Там гроб стоит. Вонючка сладкая. Ладан. Народу немного. Отошел от людей. Встал у большой иконы. Богородица. «Утоли мои печали». По адресу. Грустные глаза у нее. И

красивые. Смотрит она – на младенца. Почему же ее взгляд прямо в душу мне проникает? Не люблю, когда мне в душу смотрят. Нечисто там. Вышел из церкви. Погулял на маленьком кладбище. Вынесли гроб, понесли к стоявшей невдалеке пятитонке. Никого не узнал. Ошибся, не Федотья это. Посторонний какой-то покойник.

Попу уже передали, что я с ним поговорить хочу. Сам ко мне подошел. И сигарету закурил. Но так, чтобы никто не видел. Потихоньку.

«Говорят, у вас гостили люди какие-то чужие?»

«Это был мой племянник из Мценска, с женой и братом».

«Телефоны, адреса дадите?»

«Конечно дам. Только вы не думайте, что они какое-то отношение к несчастью имеют. Они уехали утром после праздников».

Опять след потерян!

«А вы покойную знали?»

«Она в церковь не ходила. А Пелагея бывает».

«Самогонку гонит и в церковь ходит!»

«Кто из нас без греха?»

«А что вы об Афанасии думаете? Мог он жену убить?»

«Не знаю я. Вы – власть. Вы их воспитываете. Вы сами на свой вопрос и ответьте. И еще подумайте, кто виноват, что для Афанасия одна радость в жизни – водка».

Умный поп. Получается, мы виноваты. Советская власть. Еще лучше – я один виноват во всем. Я и есть убийца. Вот он, ответ. Что я таскаюсь сюда? Я виноват. И точка.

В ту минуту осенило меня. Понял, как Липкина допрашивать надо. Спасибо попу.

Поехал назад в город. Вызвали Афанасия из камеры. Он, как меня увидел, принялся за свое. Попугай хренов.

Говорю ему: «Помолчи минуту. Я знаю, что ты не убивал. Ты невиновен. Это я твою жену задушил».

Оторопел, смотрит на меня как баран. Потом говорит: «Вы убили?»

«Я убил».

«Задушили и на гвоздь в сарае повесили?»

«Ну вот, ты и проговорился, дубина. Отвечай путем, пил в тот вечер с друзьями?»

«Пил все праздники. Пил и третьего. Начал еще в мастерской. Добавляли у крестного».

«Потом у матери?»

«Да».

«Когда домой пришел?»

«Ночь была».

«Опять проговорился. Пелагея говорила, что тебя рано утром дома не было. Очную ставку делать будем. Что дома увидел?»

«Ничего. Все было нормально. Федотья кормила, стала меня стыдить».

«Ты что сделал?»

«Не виноват я! Я ее пальцем не трогал...»

И дальше по программе. Но мне уже все равно было. Потому что я сам для себя уяснил, как дело было. Пришел Афанасий пьяный домой. Федотья начала его увещевать. Он впал в ярость. Задушил жену как кошку. Первой под руку попавшейся проволокой. У него ее много. В аффекте. И на гвоздь в сарае жену повесил. Что натворил – не понял. Спать завалился. И, конечно, о том не подумал, что гвоздь этот слишком высоко торчит, не достала бы его маленькая Федотья. Оставил бы он ее там висеть, да положил бы рядом лестницу какую или ящик опрокинутый – все бы решили, что самоубийство. Не со сверлильного же станка вешаться. Который к тому же в другом конце сарая стоит.

Неподъемный груз.

Целую ночь ребенок орал, никто не пришел, не спросил. Все по домам сидят.

Пузыри пускают. А утром мать притащилась. Хватилась снохи. Вбежала в сарай – вот она, висит, как груша. Разбудила сына. Торопилась. Вдвоем они тело с гвоздя сняли. Гвоздь выдернули. Тело в погреб снесли.. Там пытались повесить. Не вышло. Да и крюк из стены выдрался и под доску закатился. Хорошо подумать времени не было. Труп на руках, дети визжат. Положили тело на пол. Вокруг шеи телефонный провод обмотали. Чтобы воду замутить. А про крюк забыли. Афанасия Пелагея к себе домой послала. Велела еще самогону выпить.

И только потом заголосила. Народ созвала. Всех в избу завела, в погреб, во двор и в сарай пустила. Чтобы натоптали везде, грязными руками затрогали. Только после этого сына опять в дом ввела. Деревенские сразу все поняли, не впервой. А меня дурачили как умели.

Ночью мне опять злое приснилось.

Вначале все Афанасий представлялся. Душил меня. Я кричал, отбивался, но он меня переборол. И в сарае повесил. И вот, я мертвый, в сарае вишу. На том самом столбе. И отходит моя душа от тела и летит в прозрачном шаре в небеса. Как куколка детская в мыльном пузыре. Подлетает к огромному престолу. На престоле сам Бог восседает. И шар мой прямо ему на ладонь садится. И вот, стою я – куколка, на ладони боговой.

И говорит мне Бог: «Ну что, Шурик, с тобой делать прикажешь?»

А я взял и брякнул сдуру: «Пошли меня в погреб».

Нет чтобы в рай попроситься.

И тут... как будто сдуло меня с ладони и, пока я в пропасть страшную летел, все слышал смех сатанинский.

И вот, я в погребе. Ладаном пахнет. И обстановка как бы церковная. Стою перед иконой Божей Матери голый. Смотрю на ее лик. Молю ее о милости. А она с иконы – на меня глядит. Сердце благодатью озаряет. И вдруг с иконы сходит. По воздуху как по лестнице идет.

Подходит ко мне. Кладет младенца в люльку золотую. Обнимает меня. Голубит. И вот, я уже на Богородице лежу. И мы смеемся и в глаза друг другу заглядываем. Как муж и жена. И я – глубоко в ней. И вокруг нас – не церковь, не погреб, а сфера звездная. И эоловые арфы играют нам музыку.

Вот, значит, до чего я дошел. Бог меня в руке как зверь Кинг Конг держал. И с Богородицей сплю.

Все допросы снял. Очную ставку с матерью провел. Афанасий принялся было опять за свое, но когда я ему пригрозил, что Пелагею посадим, не выдержал, сознался. Пелагея рыдала, сына выгораживала. Был у Приходько. Бутылку, как обещал, поставил. Рассказал все. Показал протоколы. Попросил разрешения Пелагею не преследовать. Тот разорался, но позволил. Бутылку мы выпили. Я занялся другим делом. А Афанасия через три недели осудили. Восемь лет

строгoго режима дали. Зачли смягчающие. Могло быть и хуже. Мать Федоты забрала сирот к себе. К Калдырихе я так и не съездил.

Живу неплохо. Только кот черный по ночам донимает. То у двери скребется, то с потолка на грудь прыгает.